

Мысли об этой смерти неотступно и мучительно преследуют меня уже целый год. Не только потому, что Вячеслав Леонидович Кондратьев — один из любимых моих писателей. Не только потому, что посчастливилось встретиться с ним и впечатления от тех встреч остались памятные. Есть и еще причина.

Сразу, тогда же, год назад возникло в связи с сообщениями о его кончине чувство какой-то противоречивости и недоказанности. Одна газета даже написала: «Тайна смерти Кондратьева окутана мраком».

Обтекаемо-минорное «ушел из жизни» — и шоково-пронзающее «застрелился».

«Умер» — и «покончил с собой».

«Несчастный случай» — и «самоубийство».

Это из разных газетных заметок. Почему же оказались они столь неоднозначными?

Факт несомненный и бесспорный — выстрел. Он был, этого уж не опровергнет никто.

Он грянул на исходе темной сентябрьской ночи, и Нина Александровна, жена, спавшая в соседней комнате, мгновенно пробудившись и метнувшись к мужу, увидела его залитым кровью.

«Скорая помощь», реанимация, отчаянные усилия врачей. Через двое суток он скончался.

Увы, вот это все действительно бесспорно и неопровержимо. А остальное... Оно вызвало в газетах ту самую разногласия.

Реагируя на нее, литературный критик Александр Коган, друживший с Кондратьевым, напечатал в «Московской правде» свое письмо. Основная мысль: не надо выдавать догадок по поводу смерти писателя за непреложные истины. Что же, мысль правильная. В принципе. Но, что касается оценки конкретных версий, в чем-то существенном автору захотелось возразить.

Он считает одинаково бездоказательными и утверждение о несчастном случае, и суждение о сознательном самоубийстве — из того же ряда, что уход Юлии Друниной. «Доказательств нет. И уже никогда не будет. Никакой записки, подобной предсмертным стихам Юлии Друниной, Кондратьев не оставил».

Верно, не оставил. Но остались люди, которые знают обстоятельства его смерти, и то, что ей предшествовало. Прежде всего — жена. Да и вы сами, Александр Григорьевич, знаете прекрасно (говорила же мне!), что в том состоянии, в котором находился в ту ночь Кондратьев, рисуемая ситуация — «чистил именное оружие, и курок сработал» — не просто бездоказательна, но абсолютно невозможна. Не мог он, тяжело больной, да еще глубокой ночью заниматься чисткой оружия! Так давайте тогда отбросим эту версию раз и навсегда.

Нет же, кому-то она очень нужна. Кому? И зачем?

По-моему, нынче всем известно, что литературный мир наш, как и общество в целом, драматически расколот. Проявления этого бывают — безо всяких преувеличений! — ужасными. Меня потрясло, например, когда недавно, после смерти великого русского писателя Леонида Леонова, несколькими литераторами (известным, популярным) было предложено подписать некролог — и четверо из них отказались: «Он не из нашего союза». Боже мой, и это перед лицом Бечести! Перед памятью человека, который давно уже принадлежит к союзу бесмертных!

Раскол жестко поставил по разные стороны литературно-политических баррикад даже бывших фронтовиков, которые, казалось бы, навсегда должны быть спаяны общей кровью, пролитой в тяжелейшие для Родины годы. Но — нет: демократы, патриоты... Скажем, Григорий Бакланов и Юрий Бондарев, оба лейтенанты во-

енных лет, сегодня никогда и ни в чем не бывают вместе.

Кондратьев был с теми, кто назвал себя демократами. И вот нельзя не обратить внимания, что именно издания такого толка предпочли или вовсе умолчать о выстреле, превратившем его жизнь, или написали о «чистке оружия» и «нечаянно спущенном курке». Случайно возник на их страницах этот «несчастный случай»? Зная теперь многое, что наслышались вокруг смерти его, могу сказать уверенно: нет!

Тот же Коган рассказывал мне, как отнесся к известию о самоубийстве Кондратьева один из активнейших деятелей «демократического» Союза писателей Москвы.

— Ну вот, — сказал он, — теперь из Кондратьева будут делать вторую Друнину.

Ясно: событие с точки зрения «партийных» интересов невыгодное. Получилось, что человек — вольно или невольно — вроде подвел или даже предал «своих». Потому и решили замолчать, как ушел из

ет все так, как было при нем. Словно бы приготовленная для работы машинка, стопки книг с закладками, огромные кипы газет и журналов на низком столике перед широким диваном.

Вот сидя на нем, мы и разговаривали с Вячеславом Леонидовичем весной памятного 1991-го, когда я несколько раз приезжал сюда, чтобы подготовить беседу с ним для «Правды» — к 50-летию начала Великой Отечественной. Тогда, на излете горбачевской перестройки, многое из нашего прошлого уже было в корне пересмотрено. Все большим переосмыслением подвергались и военные годы. И хотелось услышать в связи с этим мысли о войне человека, который прошел ее в самой трудной, солдатской должности и на одном из самых трудных участков — на набухшей кровью ржевской земле, о чем поведал потом с такой неприкрашенной правдой в своих повестях и рассказах.

Признаюсь: мы спорили. Не о войне — тут оценки наши

реполненный чувством восторга, он находился в явном состоянии эйфории. Такое состояние бывает у человека, который долго чего-то ждал, на что-то надеялся — и вот ожидание сбылось, а надежды начинаю осуществлять.

Увы! Состояние это продолжалось у него недолго. Уже очень скоро я стал слышать в голосе его совсем иные ноты.

Особенно запомнился телефонный разговор в один из первых дней нового, 1992 года. Я позвонил, чтобы поздравить, но диалог у нас получился далеко не праздничным. Только что были отпущены цены — началась «шоковая терапия». И он не мог скрыть крайней растерянности.

— Ну что, Вячеслав Леонидович, вы и теперь будете оправдывать то, что происходит?

— Не знаю. Право, трудно сказать. Экономисты вроде говорят, что должно налаживаться. Но, конечно, многое смущает. Очень смущает...

В этой смутной, недоумевающей интонации, при кото-

рам. Представляют ли наши молодые правители из команды Е. Гайдара, кто является пенсионером?.. И вот на этих спасших Россию на фронтах Отечественной, восстановивших разрушенное войной хозяйство, честно трудившихся всю жизнь за нищенскую зарплату обрушились новые цены, сразу превратившие их в нищих, обесценившие их жалкие накопления, которые правительство не может, как выяснилось, компенсировать. Мало того, у ветеранов отнимается единственная значимая привилегия — освобождение от подоходного налога... Мне часто пишет один голландец. Так вот он, живущий в благополучной стране, чуть ли не в каждом письме говорит, как они спасены русским, которые спасли их от фашистской чумы. А родное русское правительство не помнит этого. Позор!

Вы поняли? Первая боль его — ветераны. Их положение, которое с приходом новой власти не улучшилось, а резко ухудшилось. Из самых

сти, начавшие среди прочего и с установления себе приличных окладов, и обеспечения других условий комфортного существования. Когда основная масса народа нуждается, это выглядит безнравственно».

«Повторяю: мы готовы терпеть, но, когда мы видим, что власти придерживаются этого делать не собираются, мы их внутренне отторгаем. Не знаю, на кого будет дальше опираться Ельцин».

Да, мечталось о большей справедливости, а обернулось вопиющей несправедливостью.

«Вот и вышло: для кого — «шок», для кого — коммерческий шоп».

«В правительственных кругах слишком уж спокойно относятся к резкому, безжалостному делению общества на богатых и бедных. Надо поддерживать все, что хоть как-то работает или работало на народное благо».

Несправедливость в любых проявлениях вызывает у него бурное негодование и решительный протест. Вот напечатал «Куранты» беседу с одним из руководителей столичной под хлестким заголовком «Центр Москвы — не для бедных». Он тут же откликается в газете «Вечерний клуб»:

«Итак такое заявляет демократическая мэрия... Неужели уважаемый или не очень уважаемый зам. префекта не чувствует потрясающего низина своих высказываний?.. Во всяком случае я, коренной москвич, защищающий город в 42-м, много написавший о Москве и москвичах, не буду голосовать за теперешний состав мэрии и за мэра».

Поводов для возмущения и тревоги более чем достаточно. Многие глубоко травмирует его. И он говорит об этом с предельной откровенностью. По толстовскому принципу: не могу молчать!

О развале СССР: «Мне и самому сговор в Беловежской пуще показались не только малозначительными, но и ведущими к непредсказуемым последствиям... Я сразу же написал об этом, но «Московские новости» не опубликовали, сказав, что поздно уже. Но происшедшие события показали, что высказанные мной тогда сомнения в СНГ большей частью оправдались — ломать, как говорится, не строить».

О ваучерной приватизации: «Эта затея как раз и есть нагляднейший пример не слишком здравых, а еще и нравственно неразборчивых действий правительства. Здесь все удивляет и раздражает, начиная с келейности принятия решения...»

О судьбе отечественной культуры: «Рубим сплеча. Культуру, например. Разумеется, она была культурой тоталитарного общества, приоритетом к режиму. Но в ней были и большие достижения, был, в высших ее проявлениях, дух достоинства, несший людям утешение и надежду. А что происходит сейчас? Чем, например, каким утешением и надеждой поточут нас с американизированного телеэкрана?»

15 августа 1992 года, в связи с годовщиной демократической победы, газета «Культура» опубликовала ответы нескольких видных политиков, экономистов и деятелей культуры на вопрос о том, что же принес нам этот минувший год. Слово Кондратьева, в отличие, скажем, от бодренького Лужкова, прозвучало с едкой язвительностью и нескрываемым отчаянием.

«Все на мой обязательский взгляд делается не так и не то», — вот его вывод. Это не я, а он выделил, подчеркнул: не так и не то!

А затем, в последующих его выступлениях, а почти физически ощущал, как нарастает и сгущается это чувство безысходного отчаяния от всего происходящего в стране, как надвигается на него душевный кризис.

И кризис разразился...

Виктор КОЖЕМЯКО.

(Окончание следует).

Последний выстрел сержанта Кондратьева

Что за тайной смерти замечательного писателя-фронтовика?

жизни этот писатель, или представить происшедшее результатом нелепой случайности. Будто никакой трагедии и не было. Так себе, дескать, досадное недоразумение. Ну горе, конечно, что говорить, однако причин глубоких искать не надо...

А один видный писатель этого же лагеря на мой вопрос, из-за чего, по его мнению, застрелился Вячеслав Кондратьев, пренебрежительно бросил:

— Да пил он! Не знаете что ли?

Вот вам и всё. Как просто. И нечего голову ломать.

Нет, всё гораздо сложнее.

Я согласен с Коганом, что никакой одной причины такого, пожалуй, не объяснишь. Вообще ад, который бушует в душе человека, решившего добровольно оборвать свою жизнь, подлость непостижим и непередаваем. И что стало доминирующим при слиянии разных болей, вызвавших в конце концов этот выстрел? Мы со стопроцентной точностью не узнаем. Но можно все-таки приблизиться к пониманию внутреннего состояния человека в то время.

Коган написал в «Московской правде»: обострилась давняя, периодически навещавшая Кондратьева болезнь; замаячила угроза инсульта; возможно, он боялся оказаться в тягость окружающим... Думаю, это отразилось на настроении писателя, которое (о чем говорили мне многие) в последнее время почти постоянно было подавленным, даже мрачным.

Все это причины, можно сказать, личного характера. У Друниной они тоже ведь были. Однако в предсмертных стихах она написала:

Как летит под окотом Россия,
Не могу, не хочу смотреть!

То есть думала на роковом пороге не только о личных своих невзгодах. А он, Кондратьев?

Да, записки его с объяснением причин ухода у нас нет. Но он оставил многочисленные статьи и интервью, где излил состояние своей души в те неимоверно тяжёлые для него два года, которые предшествовали концу. Можно ли игнорировать эту его исповедь?

...Мы сидим с его женой в их квартире — в кабинете, где Нина Александровна сохраня-

мало в чем расходились. Разве что по поводу советской идеологии, которая в восприятии Вячеслава Леонидовича не играла в те годы почти никакой роли. Но ему, как и мне (да нет, думаю, гораздо острее!), больно было слышать набравшие силу лихие декларации юных и вовсе не юных «переоценщиков», кричавших о том, что наши фронтовики воевали чуть ли не зря, потому что спасали сталинский режим, что шел в бой наш народ под пулеметными дулами заградотрядов, что подвигов никаких не было, все это выдуманно и т. д. и т. п.

Народным подвигом была вся война, — сказал он, и в этом главном о войне мы были едины.

Спорили о другом. О нашем сегодняшнем и завтрашнем дне. Если кратко сказать, у меня тут в оценке преобладала тревога, у него — радость ожидания и надежды. Не принимавший КПСС и существовавшую государственную систему, давно находившийся по его признанию, во внутренней оппозиции к ним, он был всецело захвачен ощущением их близкого конца. Когда же я говорил о настораживающем, доходящем до безумства радикализме ельцинского толка, который способен разнести общество вдребезг, он внимательно слушал, но не соглашался.

Обойдется. Главное — систему изменить. Главное — выйти нам из загона. Материал, который мы готовили, появился в номере «Правды» за 20 июня — под заголовком «Какая же она, правда о войне?» Тем временем Вячеслав Леонидович уехал в подмосковную Малеевку, в Дом творчества. А ровно через два месяца разразилась августовская гроза. ГКЧП, Ельцин на танке у «Белого дома»...

Естественно, финал этих событий Вячеслав Леонидович однозначно приветствовал. Для него не было сомнений: нас хотели вернуть в ГУЛАГ — попытка не прошла. Теперь начнется новая, справедливая жизнь!

— Вы что, не понимаете? — возбужденно кричал он мне в телефонную трубку.

Вот это, как я уловил, было для него самое основное: отныне больше станет в нашей жизни справедливости. И, пе-

рой он пытался сохранить какую-то видимость остаточной бодрости, и закончился тот наш разговор.

Потом я слышал голос его уже не по телефону и не во время личных встреч, а в газетах. В разных. От супердемократических «Курантов» до коммунистической «Гласности». Он действительно очень часто стал выступать с публицистикой. И публицистика эта...

Да что говорить: она в его устах, особенно поначалу, была для меня ну совершенно неожиданной. Такой резкий поворот в отношении к тем, кто установил новую власть! Недаром демпресса, поживаясь и смущенно пристраиваясь «неудобные» его тексты под компромиссные рубрики типа «Свободная трибуна» или «Свой взгляд», нередко сопровождала их к тому же аморфными предисловиями: «Яростный сторонник всех демократических преобразований, он вдруг принес в нашу редакцию статью, которая, казалось бы, не должна принадлежать его перу — из-за симпатий к тем, за кого он сам голосовал».

Вот именно: и голосовал, и еще недавно всячески поддерживал, но теперь симпатий значительно поубавилось.

Я помню, какое сильное впечатление произвели на меня многие из этих материалов уже тогда, по мере их появления. А сейчас, когда Нина Александровна рассказывает передо мной высокий газетный вихрь и я начинаю перечитывать публикации одну за другой, они как бы сливаются в единый страстный монолог, проникнутый горечью и болью.

«После августовской эйфории наступила апатия...»

Это «Литературная газета», 26 февраля 1992 года. Полгода спустя после «победы демократических сил».

Ну вот, эти силы, на которые он так надеялся, теперь у власти. И что же?

«Не хочется что-то мне умиляться и выражать восторги по поводу нашего демократического правительства. Не могу восхищаться и современными новизнами и петь хвалу «рыночным» в кавычках реформам, ударившим по самому незащищенному слою нашего народа — по пенсионе-

глубин души вырывается у него:

«И если хоть один ветеран Отечественной войны помрет от голода, я первый выйду к «Белому дому» и стану требовать отставки правительства».

В устах демократа Кондратьева это прозвучало подобно разорвавшейся бомбе. А дальше... Дальше, от выступления к выступлению, его страдающий и гневный голос набирает все большую силу.

«Грабить вообще плохо, а грабить нищих стариков — это и слов не найти. Негоже и президенту, если он дорожит уважением народа, бросать слова на ветер... Непримиримая оппозиция оказывается права. Вспит она, что Ельцин не выполняет обещаний, что ограбил народ, а он действительно обещаний не выполняет».

«Реформу начали делать люди, которые очень хорошо питались в детстве, а потому и смогли без особых колебаний и сомнений излить у населения то, что они годами копили, как говорится, на черный день. Этот день, увы, наступил, а то, что собралось для него, превратилось в пыль».

Он как бы бьет и бьет в эту точку, добываясь хоть элементарной помощи хотя бы старикам.

«В первую очередь надо индексировать сбережения пенсионеров... Ветеранов-то войны, кстати, на всю Россию менее трех миллионов, наверное, осталось. Невелика цифра, к тому же с каждым годом уменьшающаяся на сотни тысяч. Если несколько лет промариновать, так и некому компенсировать будет, но как жить, господа, будете после этого, если, конечно, совесть какая-то есть в душе?»

Совесть... Это он обращается к власти имущим, которые принялись осуществлять свои цели за счет народа. Не обижая, однако, себя. Его остро задевает, что о себе-то новые хозяева позаботились не меньше, а гораздо больше прежних.

«К сожалению, марксистский тезис о том, что бытие определяет сознание, оказался в определенной мере справедливым — когда тебе живется плохо, ты не хочешь видеть недостатки и несчастья вокруг. А именно в таком состоянии явно пребывают новые вла-